

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

2. “Социалист-революционер”

Пока Николай путешествовал, то возносясь духом, то проваливаясь в срамные низины, то вновь воспаряя ввысь – его родные устраивали свою земную, обыденную жизнь. Сестра Клавдия по окончании гимназии работала учительницей в Суландозёрском земском училище Кондушской волости, начиная с 1898 года. К началу 1905 года она, как свидетельствует Василий Фирсов, “как видно, окончательно рассталась с учительской работой”. Брат Пётр служил по почтовому ведомству сначала в селе Вознесенье Оштинской волости Лодейнопольского уезда, а затем – в Федовском почтово-телеграфном отделении в деревне Федово Каргопольского уезда. Он и прожил жизнь скромного почтового работника.

Николай же, вернувшись домой, жил на иждивении отца – сидельца казённой винной лавки в Желвачёве. Помогал по хозяйству, но, видно, больше времени проводил за чтением книг – старых и новых, был погружён в себя, о чём-то непрестанно размышлял. Время от времени уходил из дома и отправлялся в путешествия по Вытегорскому уезду и за его пределы. Обзаводился новыми знакомствами – уже из среды ссыльных в Олонецкую губернию, в том числе и с Кавказа. С земляками-вытегорами ездил в Санкт-Петербург, где они – охотники и рыболовы – сбывали свой товар, а он налаживал первые связи с литературной средой, показывал свои робкие стихотворные опыты.

Неизвестно – как и когда вышел Клюев на издателя Н. Иванова, который поместил два его стихотворения в сборнике “Новые поэты” в 1904 году. Во всяком случае, первая публикация двадцатилетнего поэта отнюдь не выделяется на общем фоне многочисленных стихотворений того времени – ни сентиментальной жалостливой интонацией, ни словарём, в котором преобладают общепотребительные “поэтизмы”. Видно, что Клюев только-только начинает нащупывать свою дорогу и, естественно, начинает с повторения уже отработанных мотивов одиночества “среди житейской суеты”, гибели “идеалов красоты” и “юных стремлений”. Впрочем, одна строфа обращает на себя внимание:

*Мне нужно вновь переродиться,
Чтоб жить, как все, — среди страстей.
Я не могу душой сродниться
С содомской злобою людей.*

“Мне нужно вновь переродиться...” Это уже предошущение собственной протеевской сущности и свойства менять облик, как позже сформулирует Клюев, “быть в траве зелёным, а на камне серым...” Ему уже не единожды приходилось “перерождаться” — из монастырского послушника — в хлыста, из хлыста — в “отреченного”, из послушного сына — в непокорную “тварь”... Теперь предстоит новое “перерождение”, — “чтоб жить, как все, — среди страстей...” Только его “страсти” — иной природы, чем общечеловеческие. И невозможность для него сродниться “с содомской злобою людей” — для него, в результате чужих манипуляций познавшего содомский грех, узревшего подлинный содом в человеческих взаимоотношениях в “миру” и осудившего его в своей душе, — уже как бы провозвестие грядущей судьбы: он будет со многими — и до конца не будет ни с кем, он будет менять социальные роли (отнюдь не маски!) на противоположные тем, в которых выступал ранее, — и останетса, по сути, лишь с самим собой.

...Поэтический дебют совпал с дебютом революционным. Русская деревня бурлила, как перекипевший котёл. Клюев был не просто захвачен этой волной — он мечтал о революции, как о свободном развитии духа. О революции, творимой “всёвыносящим народом”, который “факел свободы зажжёт”, и исчезнет “кошмар самовластья”, и земля, и леса станут Божьими и принадлежать будут народу — Божьему телу... И он сам, “не раб, а орёл”, готов вместе с “братьями” петь “новые песни” и слагать “новые молитвы”.

*“Безответным рабом
Я в могилу сойду,
Под сосновым крестом
Свою долю найду”.*

*Эту песню певал
Мой страдалец отец
И по смерти завещал
Допевать мне концец.*

*Но не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом громов
Над землёй пролетит.*

*Не безгласным рабом,
Проклиная жизньё,
А свободным орлом
Допою я её.*

Чисто кольцовский размер, и кажется, что для Клюева Кольцов и стал началом поэтическим ориентиром... Так, да не так. В стихах 1905 года Клюев использует образы и мотивы и Леонида Трефолёва, и Петра Якубовича (а источник стихотворения “Безответным рабом...” — трефолёвская “Наша доля — наша песня”, посвященная памяти Ивана Захаровича Сурикова, на что указал Сергей Субботин). Использует, не подражая, а вплетая в свой текст, подобно тому, как древнерусские книжники вплетали в свои тексты скрытые цитаты из Писаний и псалтири.

О “Велесовом первенце” Кольцове Клюев вспомнит позже, как о насельнике поэтического вертограда — наравне с Пушкиным, Меем и “яровчатым Никитиным”... Но пройдет ещё ряд лет, и для “Велесова первенца” найдутся уже совсем другие слова — слова отчуждения.

“Кольцов — тот же Венецианов: пастушок играет на свирели, красна девка идёт за водой, мужик весело ладит борону и соху; хотя от века для земледельца земля была страшным Дагоном: недаром в старину духу земли приносились человеческие жертвы. Кольцов поверил в крепостную культуру и закрепил в своих песнях не подлинно народное, а то, что подсказала ему усадебных добрых господ, для которых не было народа, а были поселяне и мужички.

Вера Кольцова — не моя вера, акромья “жаркой свечи перед иконой Божьей Матери”.

...Вольнолюбивые и ещё не самостоятельные по интонации и подбору слов стихи появляются в сборниках, выпускаемых “Народным кружком”, – “Волны” и “Прибой”. “Народный кружок” возглавлял участник “Суриковского литературно-музыкального кружка” П. А. Травин, которому Клюев посылал эти свои первые стихотворения. Позже Иван Белоусов, близкий к “суриковцам”, вспоминал, что клюевские стихотворения предназначались также для сборника “Огни”, который был изуродован цензурой и так и не вышел в свет. В частности, цензорский карандаш погулял и по стихам Клюева.

*Пусть я в лаптях, в сермяге серой,
В рубахе грубой, пестрядной,
Но я живу с глубокой верой
В иную жизнь, в удел иной!*

*Века насилья и невзгоды,
Всевластье злых палачей
Желанье пылкое свободы
Не умертвят в груди моей!*

*Наперекор закону века,
Что к свету путь загородил,
Себя считать за человека
Я не забыл! Я не забыл!*

Средняя строфа и последняя строчка были вымараны, а из стихотворения “Мужик” цензор удалил четыре строфы из пяти.

К этому же времени относятся и первые стихи, в которых явятся образы волн и морской пучины. Навеяны они были и гибелью “Варяга” и “Корейца” (стихотворение “Плещут холодные волны...” о матросе молодом, “замученном братской рукою”, так прямо и воспроизводит мотив знаменитой песни Я. Репнинского, посвященной “Варягу”, и первая строка оттуда), и известием о восстании на броненосце “Потёмкин” и о матросских бунтах на кораблях в Балтийском море. Стихотворение “Матрос”, впервые опубликованное лишь в 1919 году во втором томе “Песнослава”, и по интонации, и по словарю относится именно к этому времени, – времени первых собственно стихотворных опытов.

*Недвижно лицо молодое,
Недвижен гранитный утёс...
Замучен за дело святое
Безжалостно юный матрос.*

.....
*Рыдает холодное море,
Молчит неприветная даль,
Темна, как народное горе,
Как русская злая печаль.*

Не только в стихах отдавался Клюев революционным порывам. Обходя Олонецкую губернию, он раздавал прокламации, произносил зажигательные речи – но и этим не ограничивались его действия, в полном смысле этого слова преступные по критериям тогдашней власти. 1 мая 1906 года жандармский ротмистр Павлов писал помощнику начальника Московского жандармского управления в Московском и Звенигородском уездах: “Из переписки с исполнителем Московского охранного отделения видно, что в минувшем году, по требованию вашему от 12 апреля 1905 года за № 771, был подвергнут обыску и привлечён к дознанию по делу о распространении среди служащих станции “Кусково” прокламаций революционного содержания некто Клюев. В данное время мною привлечён в качестве обвиняемого крестьянин Новгородской губернии Николай Клюев. Прошу сообщить, имеются ли у вас сведения о Клюеве для выяснения, не есть ли это одно и то же лицо”.

Ответ Московского жандармского управления неизвестен, и, вполне возможно, речь идёт об однофамильце. Однако естественно предположить, что Клюев, бывая в Москве, не только устраивал свои стихи в печати, но и раз-

давал нелегальную литературу. О связях его в московских революционных кругах мы ничего не знаем, о своей же подпольной деятельности в Олонии Николай отчитывался в живописных подробностях в письме “Политическим ссыльным, препровождаемым в г. Каргополь Олонецкой губернии”:

“Я отдал всё, что имел, не пожалев себя и бедных старых родителей — добиться удалось: обложить Пятницкое общество Макачевской волости сбором в 5 коп. с души (немаленькая сумма по тем временам! — С. К.) в пользу Крестьянского союза, постановить приговор с требованием Учредительного собрания (приговор отослан Царю), отменить стражников, отобрать церковную землю и все сборы отменить, приобрести 9—11 ружей, сменить старшину, писаря, место которого заменял я — только 2 месяца. Всё дело велось больше года, и я успел за это время раздать больше 800 прокламаций, полученны все от бюро содействия Крестьянскому союзу...” Если ещё учесть, что далее следует упоминание об известии “о том, что в Петербург благополучно провезены из Финляндии 400 ружей и патроны, это известие я получил 17 февраля (1906 г. — С. К.)”, то вырисовывается портрет форменного активного заговорщика против самодержавия, готового действовать с оружием в руках... Впрочем, тут всё не так однозначно, если учесть, что начинается это письмо фразой “Я, Николай Ключев, за Крестьянский союз и за все его последствия”, а заканчивается подписью “Социалист — Революционер”.

Это была весьма загадочная организация, и исследователи долго не могли прийти к однозначному выводу — кто стоял у её истоков, кто вёл агитацию на местах и кто созывал и финансировал её съезды. Естественнее и проще всего было бы напрямую связать происхождение Всероссийского крестьянского союза с партией эсеров, тем паче что эсеры, создавая свои организации в многочисленных губерниях Российской Империи, делали себе всевозможную рекламу и создавали собственные “крестьянские союзы”. Сам же Всероссийский крестьянский союз был создан неонародниками для решения совершенно конкретных, локальных задач, стоящих перед крестьянским миром, в его создании принимали участие и земство, и часть бюрократии, и опеределённые силы от либеральной оппозиции — соответственно, Всероссийский крестьянский союз не предполагал ни аграрного, ни какого-либо иного террора, что составляло смысл всей деятельности эсеров. Тем не менее, все “насущные задачи” в процессе создания этой организации перекрыла одна-единственная: требование “земли и воли”. Причём если социал-демократы требовали вернуть крестьянам часть земли, что была отрезана у них в ходе реформы 1861 года, дабы не произошло насильственной ликвидации всех помещичьих землевладений, что, по их мнению, ослабляло развитие капитализма на селе и архаизировало сельское хозяйство, — то эсеры настаивали на социализации — передаче земли в распоряжение земельных обществ. И Ключев, подписавшийся “Социалист-революционер”, был, безусловно, на их стороне, хотя и не входил формально в саму эсеровскую партию.

18 февраля 1905 года был издан указ Сенату, повелевающий возложить на совет министров “рассмотрение и обсуждение поступающих на имя наше от частных лиц и учреждений видов и предположений по вопросам, касающимся усовершенствования государственного устройства и улучшения народного благосостояния”. “Усовершенствование государственного устройства” позволяло требовать созыв того же Учредительного собрания, а под видом “улучшения народного благосостояния” вполне можно было “отобрать церковную землю и все сборы отменить” — вплоть до конфискации всех помещичьих земель с последующей передачей их крестьянам.

Этот указ стал одним из документов власти, направленных против неё же самой, разрушающих основы самодержавия.

Тогда, в тот роковой год, одно providенциальное событие сменяло другое — наплыв их друг на друга был неостановим.

Кровавое воскресенье... Уже 8 января Петербургскому гарнизону и солдатам, прибывшим из провинции, раздали боевые патроны. Великий князь Владимир Александрович приказал стрелять по усмотрению. Министр внутренних дел П. Д. Святополк-Мирский, будучи с докладом в Царском Селе у Николая II, нагло обманывал императора, утверждая, что рабочие ведут себя “спокойно”. А 9 января пролилась кровь.

На что рассчитывал Гапон, “священник-сицилист” и агент Охранки, “по всем своим наклонностям и складу ума... социалист-революционер, хотя он

называет себя социал-демократом” (как вспоминал один из его современников), составляя петицию, содержащую, в частности, требования “немедленного освобождения и возвращения всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки”, “немедленного объявления свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собрания, свободы совести в деле религии” и “отделения церкви от государства”, — он сам сформулировал в беседе с В. Поссе.

— Если бы царь принял делегацию, я упал бы перед ним на колени и убедил бы его при мне же написать указ об амнистии всех политических. Мы бы вышли с царём на балкон, я прочёл бы народу указ. Общее ликование. С этого момента я — первый советник царя и фактический правитель России. Начал бы строить Царство Божие на земле...

— Ну, а если бы царь не согласился?

— ...Тогда было бы то же, что и при отказе принять делегацию. Всеобщее восстание и я во главе его... Чем династия Романовых лучше династии Гапона? Романовы — династия Голштинская, Гапоны — хохлацкая. Пора в России быть мужицкому царю, а во мне течёт кровь чисто мужицкая, притом хохлацкая.

И не один Гапон лелеял подобные тщеславные планы...

“Мадемуазель Клейгес говорила, что в бумагах покойного Трепова нашли документы, из которых ясно, что он собирался уничтожить царскую семью с царём во главе и на престол посадить великого князя Дмитрия Павловича, а регентшей великую княгиню Елизавету Феодоровну”. (Запись в дневнике генеральши А. В. Богданович в декабре 1906 г.)

Член Государственного совета Алексей Павлович Игнатьев после поражения России в русско-японской войне собирался устроить военный переворот и посадить на трон “сильного царя” с неограниченной самодержавной властью, способного возродить “старинные русские формы управления”.

Яков Драбкин (то бишь Сергей Гусев), один из видных большевиков, впоследствии вспоминал, как в апреле 1905 года в петербургском ресторане “Контан” состоялась встреча социал-демократов и гвардейских офицеров из так называемой “Лиги красного орла”, причём речь от имени этой самой “Лиги” держал эсер (!) С. Мстиславский (Масловский). Он сообщил, что “Лига” готовит антимоноархический заговор — свержение царя и установление конституции. Живое обсуждение грядущих глобальных перемен вылилось в делёжку “шкуры” ещё не убитого “медведя” — гвардейцы настаивали на Земском соборе, социал-демократы — на Учредительном собрании. Одним словом, не договорились.

Но планы — планами, а практическая деятельность революционеров разных мастей набирала и набирала обороты.

Фабриканты, рыбопромышленники, владельцы торговых домов, лесопромышленники, хлеботорговцы, золотопромышленники, помещики — все они финансировали самые крайние революционные партии. Доставалось и эсерам, и меньшевикам, и большевикам. О денежной помощи “из несгораемых стальных касс королей нефти Гукасова, Манташева, Зубалова, Кокорева, Ротшильда, Нобеля и многих других миллионеров” вспоминал С. Аллилуев. О ежемесячных сборах в пользу революционных партий в суммах “от 5 до 25 рублей”, поступавших от адвокатов, инженеров, врачей, директоров банков и чиновников государственных учреждений, писал Леонид Красин. А Лев Троцкий выражался совершенно недвусмысленно:

“До конституционного манифеста 1905 г. революционное движение финансировалось главным образом либеральной буржуазией и радикальной интеллигенцией. Это относится также и к большевикам, на которых либеральная интеллигенция глядела тогда лишь как на более смелых революционеров”.

Впрочем, самыми смелыми по тем временам были эсеры, в руководстве которых заправлял, в частности, племянник Петра Столыпина Алексей Устинов, и анархисты, партию которых украшал своим присутствием, в частности, князь Хилков.

Да о чём говорить, если издание большевистской “Искры” и II съезд РСДРП финансировала супруга сенатора Калмыкова, а “Правда”, начавшая выходить в 1912 году, печаталась в типографии, арендовавшейся у черносотенной газеты “Земщина”! Редактором её одно время был Черномазов. “Из попов, но еврей, — вспоминал Вячеслав Молотов. — Такой чёрный, кудрявый. Возможно, это была одна из его фамилий. Он оказался агентом. Он был ре-

дактором “Правды” в течение нескольких месяцев, писал передовые. Это уже после меня было, я уже был арестован. А потом Ленин прислал Каменева из-за границы, и он стал редактором вместо Черномазова. А до Черномазова вот мы, грешные, там заворачивали”.

Очень скоро все эти недолговечные союзы разорвутся, бывшие союзники станут непримиримыми врагами — но пока... они делают одно дело.

С ними всё более или менее понятно. Слегка ошарашивает “р-р-революционный настрой” тогдашней творческой интеллигенции. По-настоящему сочувственных людей, подобных Льву Толстому (впрочем, он сам никогда бы не назвал себя интеллигентом) или Александру Блоку, в этой среде было не слишком-то много. Народолюбие этой публики в большей мере было “оппозиционно-карнавальным”, отдавало модным “модерном” — тем более напыщенно-фальшиво и одновременно устрашающе звучали стихотворные декларации Константина Бальмонта о “сознательных смелых рабочих”, Валерия Брюсова о “грядущих гуннах” или садомазохистское выступление Сергея Дягилева в журнале “Весы”:

“Я совершенно убедился, что мы живём в страшную пору перелома, мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмёт от нас то, что останется от нашей усталой мудрости... Мы — свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой, неведомой культуры, которая нами возникнет, но и нас же отметёт. А потому, без страха и недоверья, я подымаю бокал за разрушенные стены прекрасных дворцов, так же как и за новые заветы новой эстетики”.

Впрочем, здесь поборники “новой культуры” тесно смыкались с теми, кто “отметал” старое и “разрушал стены прекрасных дворцов” бомбами и пулями, вроде Ивана Каляева, который сам писал стихи о “своде небесном”, что “книгу нам раскрыл деяний грядущих, неизбежных”, носил в эсеровской среде партийную кличку “Поэт”, восхищался Метерлинком, Бальмонтом, Брюсовым, “Стихами о Прекрасной Даме” Блока и говорил своему сотоварищу Егору Сазонову: “Скажите, зачем вы употребляете опошленное и бессмысленное слово — декадент? И ещё с таким пренебрежением... Те, кого вы называете декадентами, представляют наше искусство. Они тоже революционеры — да, да, не смейтесь! — они революционеры в искусстве... Вы, как революционер, не имеете права пренебрежительно отмахиваться от нового в искусстве, даже не потрудившись понять его”. Он-то, по крайней мере, готов был расплатиться и расплатился жизнью за свои убеждения, с пафосом произнеся на суде: “Пусть судит нас эта великомученица история — народная Россия... Это суд истории над вами. Это волнение новой жизни, пробуждённой долго накоплявшейся грозой...”

Но когда думаешь о деяниях и вообще о судьбе подобных “юношей бледных со взором горящим”, непреклонных в своём фанатизме “херувимов” (как вспоминал тот же Егор Сазонов, Каляев внешне напоминал Сергея Радонежского с картины М. В. Нестерова) — легче не становится.

За один 1906 год террористами было убито 786 и ранено 820 представителей и сотрудников законной власти. Это не считая людей, случайно погибших во время террористических актов.

* * *

И здесь самое время обратиться к другому книжному источнику, с которым хорошо был знаком Клюев. “Гагарья судьбина” заканчивается следующим витиеватым словом:

“Не изумляясь, но только сожалея, слагаю я и поныне напевы про крестные зори России. И блажен я великим в малом перстами, которые пишут настоящие строки, русским голубиным глазом Иоанна, цветущим последней крестной любовью”.

Иоанн — любимый ученик Христа из двенадцати апостолов. “Русский голубиный глаз Иоанна” и персты, “которые пишут настоящие строки” — глаз и персты Николая Ильича Архипова, записывающего “Гагарью судьбину” (не удерживается Клюев от того, чтобы снова не сравнить себя с Христом, а Христова апостола — со своим другом)... Но об их дружбе — в своё время... А “блажен великим в малом” — напоминание о книге Сергея Нилуса “Великое

в малом”, что вышла первым изданием в 1903 году и вторым в роковом декабре 1905-го. Книга приобрела скандальнейшую репутацию из-за обнаруженных в её тексте “Протоколов сионских мудрецов” (хранить эту книгу в домашних условиях после февраля 1917 года значило подвергать себя смертельному риску).

Едва ли многие из немногих читавших её после декабрьского кровопролития задавались вопросом о подлинном или неподлинном их происхождении. Ошарашивало и повергало в глубокое отчаяние (а кое-кого мобилизовывало на судорожные попытки хоть что-то сделать) их содержание:

“Народ под нашим руководством уничтожил аристократию, которая была его естественной защитой и кормилицей ради собственных выгод, неразрывно связанных с народным благосостоянием. Теперь же, с уничтожением аристократии, он попал под гнёт кулачества разжившихся пройдох, посеявших на рабочих безжалостным ярмом.

Мы явимся якобы спасателями рабочего от этого гнёта, когда предложим ему вступить в ряды нашего войска — социалистов, анархистов, коммунаров, которым мы всегда оказываем поддержку из якобы братского правила общечеловеческой солидарности нашего *социального масонства*. Аристократия, пользовавшаяся по праву трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и крепки. Мы же заинтересованы в обратном — в вырождении гоев. Наша власть в хроническом недоодевании и слабости рабочего, потому что всем этим он закрепощается в нашей воле, а в своих властях он не найдёт ни сил, ни энергии для противодействия ей. Голод создаёт права капитала на рабочего вернее, чем аристократии давала это право законная Царская власть”.

“Главная задача нашего правления состоит в том, чтобы ослабить общественный ум критикой, отучить от размышлений, вызывающих отпор, отвлечь силы ума на перестрелку пустого красноречия.

...Мы присвоим себе либеральную физиономию всех партий, всех направлений и снабдим ею же ораторов, которые бы столько говорили, что привели бы людей к переутомлению от речей, к отвращению от ораторов.

Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько противоречивых мнений и до тех пор, пока гои не затеряются в лабиринтах их и не поймут, что лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах политики, которых обществу не дано ведавать, потому что ведаёт их лишь тот, кто руководит обществом”. (Точнейшая картина произошедшего в России восемь десятков лет спустя.)

“...Надо усиленно покровительствовать торговле и промышленности, а главное — спекуляции, роль которой заключается в противовесе промышленности: без спекуляции промышленность умножит частные капиталы и послужит к поднятию земледелия, освободив землю от задолженности, установленной ссудами земельных банков. Надо, чтобы промышленность высосала из земли и руки, и капиталы и, чрез спекуляцию, передала бы в наши руки все мировые деньги и тем самым выбросила бы всех гоев в ряды пролетариев. Тогда гои преклонятся перед нами, чтобы только получить право на существование”.

“От нас исходит всеохвативший террор. У нас в услужении люди всех мнений, всех доктрин: реставраторы монархии, демагоги, социалисты, коммунары и всякие утописты. Мы всех запрягли в работу: каждый из них со своей стороны подтачивает последние остатки власти, старается свергнуть все установленные порядки. Этими действиями все государства замучены; они взывают к покою, готовы ради мира жертвовать всем; но мы не дадим им мира, пока они не признают нашего интернационального Сверхправительства открыто с покорностью...

Раздробление на партии предоставило их все в наше распоряжение, так как для того, чтобы вести соревновательную борьбу, надо иметь деньги, а они все у нас”.

“...Признанное банкротство лучше всего докажет странам отсутствие связи между интересами народов и их правлений”.

“После того, как мы ввели в государственный организм яд либерализма, весь его политический облик изменился; государства заболели смертельным недугом — заражением крови. Остаётся только ожидать конца их агонии”.

Кто бы ни являлся коллективным автором этого сочинения — невозможно отрицать: ему присущи великолепное знание законов общественного устройства и человеческой психологии. Невозможно и не обратить внимание на то, что многое из написанного в “Протоколах” обращено не столько к настоящему — сколько к будущему. И прозрения здесь не отделить от чётко прописанного сценария.

Сергей Нилус с печалью указывал на то, что власть игнорировала этот документ, а в адрес него самого либеральной печатью была развязана травля. И сейчас можно бы с лёгкостью в мыслях необыкновенной отмахнуться от этой “подделки”, не зная слов такого высокоосведомлённого исторического деятеля, как Вениамин Дизраэли, лорд Биконсфильд, на роман которого “Конингсби” в подтверждение мысли о мировом еврейском заговоре ссылался Нилус и который предупреждал в 1856 году:

“Невозможно скрыть, а потому и бесполезно отрицать, что значительная часть Европы покрыта сетью этих тайных обществ, подобно тому, как поверхность земного шара покрыта сейчас сетью железных дорог... Им вовсе не нужны конституционные правительства, им не нужно улучшение наших установлений... они хотят изменить законы о земле, изгнав нынешних её владельцев, и стремятся к уничтожению всех церковных установлений”.

И ведь кое-кто из читавших наверняка рассчитывал воспользоваться этой “гипотетической” силой, чтобы, захватив власть, ликвидировать и эту силу тоже. С помощью “всеохватившего террора”.

“Еврейская составляющая” первой русской революции была весьма солидной. Когда депутаты Первой Государственной Думы в 1906 году предлагали изъять из употребления слово “русский”, как якобы раздражающее другие народы, они уже могли опираться на труды своеобразных “теоретиков” вроде известнейшего тогда и весьма скандального публициста Александра Амфитеатрова, выпустившего в 1905 году книгу “Происхождение антисемитизма”, где содержались следующие откровения: “Евреи делали революцию, делают и будут делать до тех пор, пока революционные преобразования не одолеют российскую государственность, и она не падёт в прах под дыханием тех демократических равенств, во имя которых гений еврейских эбионов за восемь столетий до Рождества Христова исправлял старые кочевые законы Моисея социалистическими статьями Второзакония... Евреи не могут не делать революции активной или пассивной, потому что социальная революция — их назначение, их история среди народов... Еврейство — единственный народ, которого союз опирается не на искусственную политическую лепку тех или иных границ и условий управления, но на огромные философские идеи, независимые от границ... Еврейство разлилось по Европе и странам, воспринявшим её цивилизацию, как живой закон социальной совести... Два раза социальная совесть, воплощённая еврейством, торжествовала над миром. Первый раз, когда она выделила из себя евангельский идеал. Второй период переживаем мы. Период, когда пробуждающаяся совесть Европы вооружилась догматами великих социалистов, рождённых и воспитанных еврейством, чтобы разрушить церкви, государства, неравенство классов для того нового Иерусалима, о котором первые сны рассказывал нам еврей Исайя, а последние систематизировал еврей Маркс... Еврей осуждён на революционерство, потому что в громах Синая ему заповедано быть ферментом в тесте мира... Евреи никогда не были довольны ни одним правительством, под власть которого их отдавала историческая судьба... И не будут, потому что идеал совершенной демократии, заложенной в их душе, никогда ещё не был осуществлён...”

Примечательна дальнейшая эволюция этого плодовитого беллетриста, что был “либералистее” иных записных либералов. После опубликования пошлейших фельетонов и карикатур в адрес царской семьи он, “опасаясь преследований”, бежал за границу и, живя там, беспрепятственно печатался в русской прессе. Во время 1-й мировой войны явил себя “патриотом из патриотов”, перед Февральской революцией вернулся в Россию, а после Октябрьской эмигрировал окончательно. Последние годы жизни провёл в Италии, где не уставал восхищаться Муссолини и его режимом. О шабесгойском сочинении “Происхождение антисемитизма” он, насколько известно, больше никогда не вспоминал.

... А в 1903 году в Россию приехал Теодор Герцль, он на встрече с тогдашним министром внутренних дел Плеве заявил, что действует “от имени всех

российских евреев”, и выдвинул альтернативу “либо сионизм, либо революция” и призвал русских евреев воздержаться от революционной деятельности. Но тайным обществам никакая “еврейская эмансипация” была не нужна, кровавые столкновения на национальных окраинах Российской Империи – в Молдавии, на Украине, – именуемые “погромами”, лишь увеличивали смуту – что и необходимо было для дискредитации и расшатывания самодержавной власти...

* * *

В это же время самодержавная власть неустанно расшатывала сама себя.

В мае 1905 года состоялся сход крестьян Московской губернии под руководством земско-либеральной демократической интеллигенции и принял приговор об организации Всероссийского крестьянского союза. Но ещё раньше, 17 апреля, был издан “Высочайший указ об укреплении начал веротерпимости”, устанавливавший права ревнителю старой веры наравне с правами сектантов, магометан и язычников. “Отпадение от православной веры в другое христианское вероисповедание или вероучение не подлежит преследованию и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных последствий в отношении личных или гражданских прав”. После двух с половиной столетий преследований и ущемлений староверы впервые ощутили себя полноправными гражданами империи, охраняемыми силой закона. Какова была реакция на это событие ревнителю древлеправославия, я в малой степени ощутил столетие спустя.

... Ласковый майский день 2005 года.

На Рогожском староправославном кладбище возле Покровского кафедрального собора – нешумное оживление. Лица прихожан светились радостным светом, многоголосое звучание вокруг напоминало полёт шмелей над цветочным лугом. Кажется, только благочиние сдерживало немногословных мужчин с окладистыми бородами, пожилых, молодых женщин и совсем юных девушек, облачившихся в белые праздничные кофточки, повязавших на голову белоснежные платочки. Иначе голоса звучали бы ещё громче и ещё радостнее.

Ровно сто лет назад во исполнение императорского “Высочайшего указа об укреплении начал веротерпимости” были распечатаны алтари Христовых храмов Рогожского кладбища в первый день Святой Пасхи. “Да послужит это столь желанное старообрядческим миром снятие долговременного запрета новым выражением моего доверия и сердечного благоволения к старообрядцам, искони известным своей непоколебимой преданностью Престолу”, – говорилось в высочайшей телеграмме государя на имя московского генерал-губернатора.

Вот как вспоминал об этих событиях столетней давности секретарь Совета общины Рогожского кладбища Фёдор Евфимьевич Мельников: “Пасхальная заутреня была совершена в обоих храмах уже с распечатанными алтарями. На это необычайное торжество собралась вся старообрядческая Москва. Радости и восторгам старообрядцев не было границ. Они неопишуты.

Ликовала вся старообрядческая Россия. Это было великим торжеством всей Святой Руси. Подумать только: сколько слёз было пролито за эти пятьдесят лет над этими печатями запрета служить божественную литургию в Рогожских храмах; сколько горя и обиды перенесло всё российское старообрядчество из-за этой чёрной несправедливости за полувековую её историю. А сколько было за это время разного рода просьб, ходатайств, всяких посольств к правительству о снятии печатей – и все они кончались отказом. Даже временно поставленные алтари приказано было убрать. И каждый раз такие акты были великим горем для старообрядцев и великой радостью для их врагов. И вот в светлый день, воистину пасхальный, 17 апреля 1905 г., когда весь мир христианский праздновал Воскресение Христово, враги Господа были в печали и в отчаянии, а старообрядцы сугубо ликовали, ибо с Воскресением Христовым совершилось и воскресение святых алтарей Христовых храмов Рогожского кладбища: разрушились “печати гробные”.

17 октября 1905 года был издан знаменитый Манифест с обещанием всевозможных демократических свобод. Свободы эти, правда, совершенно не коснулись крестьянского мира, напротив: карательные экспедиции против крестьян сопровождались публичными порками, казнями без суда и даже без

установления фамилии. Через полгода, 9 июля 1906 года, вышел ещё один Манифест – о роспуске Государственной Думы. Отдельные его положения касались как раз крестьянства, требовавшего земли и отвергавшего как сословное деление общества, так и насаждавшиеся в деревне капиталистические порядки.

“Ожиданиям Нашим ниспослано тяжкое испытание. Выборные от населения вместо работы строительства законодательного уклонились в непринадлежащую им область и обратились к расследованию действий, поставленных от Нас местных властей, к указаниям Нам на несовершенство законов основных, изменения которых могут быть предприняты лишь Нашею Монаршею волею, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению. Смущённое же таковыми не порядками крестьянство, не ожидая законного улучшения своего положения, перешло в целом в ряде губерний к открытому грабежу, хищению чужого имущества, неповиновению закону и законным властям. Но пусть помнят Наши подданные, что только при полном порядке и спокойствии возможно прочное улучшение народного быта. Да будет же ведомо, что Мы не допустим никакого своеволия или беззакония и всю силу государственной мощи приведём ослушников закона к подчинению Нашей Царской воле.

Призываем всех благомыслящих русских людей объединиться для поддержания законной власти и восстановления мира в Нашем дорогом отечестве.

Да восстановится же спокойствие в Земле Русской и да поможет Нам Всевышний осуществить главнейший из царственных трудов наших – поднятие благосостояния крестьянства. Воля наша к сему непреклонна, и пахарь русский без ущерба к чужому владению получит там, где существует теснота земельная, законный и честный способ расширить своё землевладение. Лица других сословий приложат, по призыву Нашему, все усилия к осуществлению этой великой задачи, окончательное разрешение которой в законодательном порядке будет принадлежать будущему составу Думы”.

О спокойствии и речи быть не могло. И чем дальше, тем больше Николай II ощущал свою неспособность справиться с государственной тяжестью, неподъёмным грузом лежащей на его плечах. Чувствуя стремление старообрядческого мира восстановить патриаршество на Руси, он всерьёз думал о снятии с себя царского венца и принятии сана Патриарха Всея Руси, перед этим приняв монашеский постриг. Ещё зимой 1904–1905 года он имел беседу об этом замысле с Петербургским митрополитом Антонием (Вадковским), о чём написал Б. Потоцкий в русском журнале “Луч света” в 1921 году:

“... Государь приказывает, как обычно и проникновенно сознавал Государь Император Николай Александрович все непомерные трудные условия Своего Царствования, при котором Венец Мономахов становился терновым венцом”.

Картина весьма благолепная. Только происшедшее, скорее, говорит о попытке снятия с себя ответственности за государство и народ, попытке добровольного избавления от тяжкого жребия государственного венценосца, что неизбежно, как верно понял митрополит, ввергало бы страну в ещё большую смуту, которая и так стояла на пороге.

А что из себя представляла в те годы Русская Православная Церковь, к главенству над которой стремился император?

Увы, распад и разложение и в ней достигали высочайшего градуса. Вот несколько цитат из писем архиепископа Волынского Антония (Храповицкого) – будущего кандидата в патриархи Земли Московския и Всея Руси и главы Русской Зарубежной Церкви – митрополиту Киевскому Флавиану (Гордецкому).

“18.1.1907. У нас в семинарии были жандармские обыски и сопротивление учеников III и IV классов: арестовано 14 человек, и найдено около 200 революционных брошюр. Я думал, что тех и других будет гораздо более; – видно, плохо искали. В отца Зосиму попала одна из летевших в городских табуреток – расшибла ему лоб. Потом приходила депутация учеников просить прощения и заявляла, что это случилось нечаянно, в темноте. Меня вся эта история, исключая ушиб Зосимы, нисколько не огорчила, хотя бы заарестовали всех семинаристов: снявши голову – по волосам не плачут. Всё равно будут ведь революционерами, поступив в университет”.

“22.11.1907. Академии так низко пали за эти три года, так далеко отошли от своей задачи, что хоть Архангела Гавриила посылай туда ректором – всё равно толку не будет. Конечно, Вам, Владыко, известно, что 50 студентов с учащимися попами ходили по пещерам, и никто ни к одним мощам не приложился; на сходке вотировали требование об отмене постов в академии, а попы перед служением Литургии едят колбасу с водкой при всех. Я подумываю подать в Синод рапорт о необходимости составить правила для поведения академического духовенства, ибо прочие студенты, какими бы они ни были, в большинстве своём освободят от себя Церковь и бесследно исчезнут в попойной яме, именуемой светским обществом, а эти духовные подонки революционных академических клоак вернутся опять в клир и получат законоучительные места и все удобства для повторения гапониады”.

“28.11.1907. ... Попы едят перед служением колбасу с водкой (утром), демонстративно, гурьбами ходят в публичные дома, так что, например, в Казани один из таковых известен всем извозчикам под названием “поповский б.”, и так их и называют вслух. На сходках бывает по нескольку попов в крайней левой, а в левой большинство: это во всех четырёх академиях... Когда благоразумные студенты возражают попам на сходке: “это несогласно с основными догматами Христианской веры”, – то им отвечают: “я догматов не признаю”. И вот толпы таких экземпляров наполняют наши школы в виде законоучителей: “о, tempora! о, mores!”...

13 ноября в Московской академии на акте доцент читал о Златоусте как о сатирике, один студент как о республиканце, а другой как о социальном анархисте”.

Этим горьким наблюдениям подвёл своеобразный итог в своих тяжких размышлениях будущий Патриарх, владыка Сергей Страгородский: “Рядом с ... громкими заявлениями о своём Православии мы остаёмся равнодушными к самому существенному, не замечаем, что жизнь наша – и частная, и общая – устроится совсем не по-православному, не на тех началах, которые преподаёт нам вера”.

Иоанн Кронштадтский всю причину крушения жизненных основ и всеобщего морального разложения видел во всеобщем отпадении от Церкви. 25 марта 1906 года он произнёс горькое и пронзительное Слово на Благовещение: “Вера слову истины, Слово Божие исчезла и заменена верою в разум человеческий; печать, именующая себя гордо шестою великою державою в мире подлунном, в большинстве изолгалась – для неё не стало ничего святого и досточтимого... не стало повиновения детей родителям, учащихся – учащим и самих учащихся – подлежащим властям; браки поруганы; семейная жизнь разлагается; твёрдой политики не стало, всякий политиканствует, – ученики и учителя в большинстве побросали свои настоящие дела и судят о политике, все желают автономии... Не стало у интеллигенции любви к родине, и они готовы продать её инородцам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям; уже не говорю о том, что не стало у неё веры в Церковь, возродившей для нас Бога и небесного отечества; нравов христианских нет, всюду безнравственность; настал, в прямую противоположность Евангелию, культ природы, культ страстей плотских, полное неудержимое распутство с пьянством, расхищение и воровство казённых и частных банков и почтовых учреждений и посылок, и враги России готовят разложение государства...”

В это же самое время в интеллигентской среде расцвели пышным цветом “богоискательские” и “богостроительские” тенденции. “Революционный раж” прекрасно сочетался и с распространившейся модой на старообрядчество, на сектантство, и с новейшими религиозно-философскими исканиями, жажду на которые не могла удовлетворить официальная церковь.

Как вспоминал в своём капитальном труде “Старообрядчество и русское религиозное чувство” один из совладельцев знаменитого банкирского дома,

известный публицист и убеждённый старовер Владимир Павлович Рябушинский, "... в русской интеллигенции возобновился интерес к религии. Такое возрождение не было ни случайным, ни непонятным: многие лучшие люди страны не шли за толпой даже в самые тёмные годы религиозного упадка, а, разбив кору чёрствости казённой церкви, умели и тогда согревать свою душу у теплоты православия... Интеллигентские "никодимы" осмелели и стали открыто заявлять о своём интересе к духовным вещам. В. Соловьёву, В. В. Розанову, Мережковскому и т. д. жить было уже легче: их "никодимы" читали и обсуждали открыто, не боясь упрёка в некультурности. Начался религиозный подъём под разными формами: в виде символизма, какого-то гностицизма, неоправославия, а затем у некоторых, правда, не всегда без отсебятины, стала просыпаться тягота просто к православию. Одни нашли у народа Серафима Саровского, другие вспомнили Сергия Радонежского, третьи, научившись у старообрядцев, поняли религиозный и эстетический смысл русской иконы, долгое время называвшейся раскольничьей и служившей предметом насмешек. А впоследствии, для подношений царям и великим мира сего, стали выменивать (покупать) древние иконы".

Этот пышный расцвет характеризовался появлением интересных и утончённых интеллектуальных трудов по богословию, философских размышлений о вере и безверии, он же свидетельствовал о раздроблении сознания, о ликвидации духовного стержня общества. Каждый в своих поисках шёл кто в лес, кто по дрова, и создавалась та самая амальгама из "противоречивых мнений", гасящая живое религиозное чувство и отталкивающая уже и так нетвёрдых в вере людей от высокоумных интеллектуалов, озабоченных "религиозными исканиями".

И не случайно у Рябушинского возникает в контексте его суждений о старообрядчестве и "интересе к духовным вещам" имя Дмитрия Мережковского, для которого старообрядчество и сектантство были одной из "основных тем" этого периода. В 1903 году он вместе с Зинаидой Гиппиус совершил паломничество к озеру Светлояр, скрывавшему, по народной легенде, невидимый град Китеж, собирая материал для заключительного романа своей трилогии "Христос и Антихрист" — "Пётр и Алексей". Антиномия, заявленная уже в названии самой трилогии, здесь лишь подчёркивалась жирной чертой. Бог-Отец — Бог-Сын, западничество — национальная самобытность: на этом схематичном противопоставлении и строил Мережковский свой роман.

Не вдаваясь глубоко в историю, препарировав по-своему доступные ему книжные источники, он создал произведение, которое вполне мог бы написать просвещённый иностранец с холодным отстранённым взглядом на русскую жизнь. Впрочем, к Мережковскому, как к иностранцу в России, независимо от положительной или отрицательной коннотации этого восприятия, относились и Андрей Белый, и Михаил Пришвин, и Василий Розанов. А наиболее точную характеристику Мережковскому как писателю дал замечательный русский философ Иван Ильин:

"Мережковский как историк — выдумывает свободно и сочиняет безответственно; он комбинирует добытые им фрагменты источников по своему усмотрению — заботясь о своих замыслах и вымыслах, а отнюдь не об исторической истине. Он комбинирует, урезает, обрывает, развивает эти фрагменты, истолковывает и выворачивает их так, как ему целесообразно и подходяще для его априорных концепций. Так слагается его художественное творчество: он... укладывает, подобно Прокрусту, историческую правду на ложе своих конструкций — то обрубит неподходящее, то насильственно вытянет голову и ноги... Он злоупотребляет историей для своего искусства и злоупотребляет искусством для своих исторических схем и конструкций... Трудно было бы найти другого такого беллетриста, который был бы настолько *чужд природе* или даже *противоприроден*... Его любимый эффект состоит в том, чтобы описывать некий мистический мрак, внезапные переходы из темноты к свету и наоборот: при этом подразумевается и читателю внушается, что там, где есть мрак, там уже царят жуть и страх; и где человеку жутко и темно, там есть уже что-то "мистическое"... Из всего этого возникает своеобразная, сразу и большая и соблазнительная половая мистика; мистика туманная и в то же время претенциозная; мистика сладострастно-порочная, напоминающая половые экстазы скопцов или беспредметно-извращённые томления ведьм. У внимательного, чуткого читателя вскоре начинает осаждаться на душе больная

муть и жуть; чувство, что имеешь дело с сумасшедшим, который хочет выдать себя за богопосещённого пророка... И почему русская художественная критика, русская философия, русское богословие десятилетиями внемлет всему этому и молчит? Что же, на Мережковском сан неприкосновенности? Высшее посвящение теософии? Массонский ореол и массонское табу?"

Клюеву, читавшему роман "Пётр и Алексей", ничего кроме отвращения не могло внушить описание Мережковским староверов-самосожженцев, как "безумной толпы", а сцена хлыстовского радения могла привести только в холодную ярость. "Вдруг свечи стали гаснуть, одна за другой, как будто потушенные вихрем пляски. Погасли все, наступила тьма — и так же, как некогда в срубе самосожженцев, в ночь перед Красною Смертью, слышались шопоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви. Тела с телами сплетались, как будто во тьме шевелилось одно исполинское тело со многими членами. Чьи-то жадные цепкие руки протянулись к Тихону, схватили, повалили его.

— Тишенька, Тишенька, миленький, женишок мой, Христосик возлюбленный! — услышал он страстный шёпот и узнал Матушку.

Ему казалось, что какие-то огромные насекомые, пауки и паучихи, свившись клубом, пожирают друг друга в чудовищной похоти".

И, как живописал Мережковский, детей, якобы зачатых во время радений, "матери подкидывали в бани торговые или убивали собственными руками". А хлыстовка Марьюшка жалуется главному герою Тихону, что, дескать, единовверцы "убьют Иванушку", "Сыночка бедненького", "Чтоб кровью живой причаститься... Агнец пренепорочный, чтоб заклатися и датися в снедь верным". Кошунство Мережковского было тем более омерзительным, что все эти "душераздирающие" сцены он сопровождал отрывками слышанных им песнопений хлыстов, что должно было произвести впечатление достоверности описываемого.

"Солдаты испражняются. Где калитка, где забор, Мережковского собор". Так, по воспоминаниям Есенина, Клюев отзывался об этом плодовитом и популярном писателе.

* * *

... По всей России горели барские усадьбы, не прекращались террористические акты в городах, интеллигенция переживала первую русскую революцию, как праздник души. Власть отвечала соответствующими мерами. За 1905—1908 и начало 1909 года военно-окружные и военно-полевые суды вынесли 4 797 смертельных приговоров, из которых 2 353 были приведены в исполнение. Ключевым был вопрос о земле — и этот вопрос заходил в тупик при любой попытке его решения: безвозмездная передача земли крестьянам даже не обсуждалась.

А в Государственную Думу летели наказания крестьян своим депутатам:

"Горький опыт жизни убеждал нас, что правительство, веками угнетавшее народ, правительство, видевшее и желавшее видеть в нас послушную платежную скотину, ничего для нас сделать не может. Правительство, состоящее из дворян и чиновников, не знавшее нужд народа, не может вывести измученную родину на путь порядка и законности".

"Помещики вскружили нас совсем: куда ни повернись — везде всё их — земля и лес, а нам и скотину выгнать некуда; зашла корова на землю помещика — штраф, проехал нечаянно его дорогой — штраф, пойдёшь к нему землю брать в аренду — норовит взять как можно дороже, а не возьмёшь — сиди совсем без хлеба; вырубил прут из его леса — в суд, и сдерут в три раза дороже, да ещё отсидишь".

"Мы признаём, что непосильная тяжесть оброков и налогов тяжким гнётом лежит на нас, и нет силы и возможности сполна и своевременно выполнять их. Близость всякого рода платежей и повинностей камнем ложится на наше сердце, а страх перед властью за неаккуратность платежей заставляет нас продавать последнее или идти в кабалу".

Сергей Юльевич Витте вспоминал, что "на крестьянское население, которое, однако, составляет громаднейшую часть населения, установился взгляд, что они полудети, которых следует опекать, но только в смысле их развития и поведения, но не желудка... В сущности, явился режим, напоминающий ре-

жим, существовавший до освобождения крестьян от крепостничества, но только тогда хорошие помещики были заинтересованы в благосостоянии своих крестьян, а наёмные земские начальники, большей частью прогоревшие дворяне и чиновники без высшего образования, были больше заинтересованы в своём содержании... Для крестьянства была создана особая юрисдикция, перемешанная с административными и попечительскими функциями — все в виде земского начальника, крепостного помещика особого рода. На крестьянина установился взгляд, что это с юридической точки зрения не персона, а полуперсона. Он перестал быть крепостным помещика, но стал крепостным крестьянского управления, находившегося под попечительским оком земского начальника. Вообще его экономическое положение было плохо, сбережения ничтожны...

Любые проекты и предложения, касающиеся отчуждения помещичьих земель и передачи их в собственность крестьянам, пресекались на корню верховной властью, ибо, как начертал на одном из таких проектов Николай II — «частная собственность должна оставаться неприкосновенной».

Журнал «Трудовой путь», где в 1907 году начал печататься Ключев, так описывал в том же году прения по земельному вопросу в Думе:

«Сколько же придется заплатить за помещичьи земли? Разно: за одну больше, за другую меньше; но в среднем по России плата составит, по предположению кадета Кутлера, рублей 80 за десятину...

Частных имений, размерами более 50 десятин, в России 80 миллионов десятин. Положим, из них пойдут крестьянам 70 миллионов, а 10 останутся за нынешними владельцами. 70 миллионов десятин по 80 рублей составит 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей, — приблизительно шестеро больше того выкупа, который был наложен на крестьян при освобождении в 1861 году...

Кадеты хотят повторить ту же штуку: дать урезанный, недостаточный надел с огромным выкупом, — сделать крестьян неоплатными должниками помещиков и государства. Разумеется, последствия будут те же: кулаки выдержат, справятся со своей частью уплаты и долга, а беднейшая масса крестьянства окончательно разорится и обезземелится...

Какой же из... проектов может пройти в Думе? Социализация земли не пройдет: против неё будут все кадеты, умеренные и правые.

Трудовический проект тоже: по той же причине.

Муниципализация земли тоже: против неё и большинство левых выскажется, кроме кадетов, умеренных и правых.

Кадетский проект? Против него должны голосовать все левые и правые, т. е. и он вряд ли пройдет.

Но если трудовики поддадутся на кадетскую приманку, то, пожалуй, кадетский проект может получить большинство».

В том же «Трудовом пути» в том же году с крайним неодобрением описывался ещё один проект по разделению крестьян землёй, проект, до сих пор вызывающий у части нашей «элиты» приступы восхищения, а на самом деле ставший очередной миной, подведённой под государственный фундамент.

«Указ о разрушении общины.

Указом 9 ноября 1906 года правительство пытается произвести социальный переворот, экономическую революцию, перевёртывающую в самом корне крестьянский быт и связанное с ним мирозерцание.

Указ предписывает разрушение общины — насильственное разрушение, по желанию отдельных лиц, посредством «властной руки» земского начальника; а в подворной России, где нет общинного землевладения — разрушение семейной собственности таким же порядком.

Реформа 1861 г. дала возможность крестьянам развязаться с общиной, если она им не по нутру... Но почти столетия прошло со времени 1861 г., а случаев уничтожения общинного землевладения крестьянами почти не было, мало того, в тех немногих случаях, когда оно состоялось, крестьяне позднее сожалели о своём решении и пытались вернуться к общинным порядкам. Наоборот, общинное право прогрессировало в смысле уравнительного пользования: переделы по числу душ в семье постепенно распространялись, вытесняя менее справедливые переделы по числу работников...

«...Разорить народ, обезземелить миллионы, вызвать междоусобную войну в деревне... стоит ли задумываться о таких пустяках!» — возмущался

автор статьи столыпинским указом, принятым “без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы”, – и продолжал:

“Каковы будут последствия указа, если он осуществится на практике?.. Война между крестьянами в каждой общине; поножовщина по всем деревням; быстрое обезземеливание даже не миллионов, а десятков миллионов крестьян, которым останется только либо умирать с голода, либо жечь и грабить”.

“Народ может надеяться только на себя самого, и если он себе не поможет, так и никто ему помочь не в силах”.

Из номера в номер печатались тревожнейшие материалы по “земельной реформе”. И все они так и остались гласом вопиющих в пустыне.

“Крестьяне в своих отзывах о хуторах очень обстоятельно объясняют своё нежелание переходить на хутора. Тут и интересы общежития, и невозможность обучать детей, и соображения о взаимной помощи, и о трудности найти воду, и о содержании скота, о невозможности водить овец и т. д. “Землеустроители”, однако, ни с чем считаться не желают. “Правительство решило внести эту систему (хуторского хозяйства), и колебаний у него на этот счёт нет. Крестьянам нужна земля; а потому безразлично, желают они или нет, но они вынуждены будут принять условия правительства и сесть на отруб”. Так передают политику правительства хорошо посвящённые в неё саратовские земцы: “Крестьянам нужна земля”, – а потому, опираясь на эту нужду, ломай народную жизнь, сложившийся хозяйственный быт и привычки населения”.

“Столыпинская реформа”, к которой сам Столыпин имел весьма косвенное отношение, призвана была свести революцию “на нет”, но на деле лишь подбрасывала поленья в революционный костёр.

Никакого иного “эффекта” от восхваляемой на все лады “реформы” не было и не могло быть. В Англии общину ломали около трёхсот лет – и сопровождалась эта ломка бурными и кровавыми крестьянскими восстаниями. В России решили провести подобную же операцию в кратчайший срок – и результат был вполне предсказуем. Крестьяне, в своём абсолютном большинстве, не желали ни выходить из общины, ни переселяться на казённые земли, о чём недвусмысленно заявляли в своих посланиях.

“Если вы уже очень хвалите Сибирь, то переселяйтесь туда сами. Вас меньше, чем нас, а следовательно, и ломки будет меньше. А землю оставьте нам”.

“Мы понимаем это дело так: спокон веков у нас заведён обычай, что на новое место идёт старший брат, а младший остаётся на корню. Так пускай и теперь поедут в Сибирь или в Азию наши старшие братья, господа помещики, дворяне и богатейшие землевладельцы, а мы, младшие, хотим остаться на корню, здесь, в России”.

“Мы в кабале у помещиков, земли их тесным кольцом окружили наши деревни, они сытеют на наших спинах, а нам есть нечего, требуйте во что бы то ни стало отчуждения земли у частновладельцев-помещиков и раздачи её безземельным и малоземельным крестьянам. Казённых земель у нас нет, а переселяться на свободные казённые земли в среднеазиатские степи мы не желаем, пусть переселяются туда наши помещики и заводят там образцовые хозяйства, которых мы здесь что-то не видим”.

“Закон этот через 10–15 лет может обезземелить большую часть населения, и надельная земля очутится в руках купцов и состоятельных крестьян-кулаков, а вследствие этого кулацкая кабала с нас не свалится никогда”.

Митрополит Вениамин (Федченков) подводил своеобразный итог попытке разрушения крестьянской общины в своих воспоминаниях: “Из существующей площади, даже если бы отнять все другие земли: удельные, помещичьи, церковные и монастырские – нельзя было наделить все миллионы крестьян восьмидесятидесятинами хуторами, да и за них нужно было выплачивать. Значит, из более зажиточных мужиков выделилась бы маленькая группочка новых “владельцев”, а массы остались бы по-прежнему малоземельными. В душах же народа лишь увеличилось бы чувство вражды к привилегиям “новых богачей”... Хутора в народе проваливались. В нашей округе едва нашлось три-четыре семьи, выселившиеся на хутора. Дело замерло, оно было искусственное и ненормальное”.

Более трети из тех, кто выделился из общины, продали землю или разорились. Шестьдесят процентов из переселившихся в Сибирь вернулись об-

ратно, также совершенно разорившиеся, лишившись даже той помощи, которую оказывала община. Оставшиеся переселенцы в годы гражданской войны почти все взяли в руки оружие, став красными партизанами в лютой братоубийственной бойне, где на стороне белых сражались коренные сибиряки.

Таков был заключительный “аккорд” столыпинской “симфонии”.

... В том же номере “Трудового пути”, где безвестный, укрывшийся под инициалами автор трезво рассуждал о столыпинской реформе, обсуждался ещё один животрепещущий вопрос тех накалённых лет. Сообщалось, что о. Иоанн Кронштадтский “в Петербурге на Афонском подворье читает лекции “О жидах вообще и в частности о погромах”. Далее со ссылкой на “Биржевые ведомости” излагалось, что “евреи сами устраивают себе погромы, и в этом виден перст Божий, наказующий их за прегрешения против правительства”, а также приводилась “Прокламация Почаевской лавры”:

“Демократам суждение народное – побои и виселица. Дай Господи, чтобы так было всегда!”

Но никакие виселицы уже не могли остановить сошедшую лавину.

* * *

Крестьяне-таки прислушивались к прениям в Думе, изнемогавшей в своих распрях. Но не более. Они сами пытались решить свою судьбу, не дожидаясь “милости” сверху.

В январе 1906 года в Вытегре было заведено “дело” “О заарестовании в порядке охраны крестьянина Николая Клюева”. 25 января уездный исправник Качалов отмечал в протоколе, что “Клюев по своим наклонностям и действиям представляется вообще человеком крайне вредным в крестьянском обществе”, а 26 января направил олонецкому губернатору подробный рапорт о вреде, принесённом Клюевым:

“24 сего января в 11 часов дня я получил донесение полицейского урядника 2 уч/астка/ 2 стана, который донёс, что проживающий в Макачевской вол/ости/ дер/евне/ Желвачёвой сын сидельца Алексея Клюева – Николай Клюев, 22 сего января, находясь на Пятницком сельском сходе в деревне Ко-сицыной, возмущал бывший на сходе народ, говоря, что начальники ваши есть кровопийцы ваши, что они вам делают только худо, что по милости их, дворян и помещиков, стало всё дорого и всё падает на мужиков, причём урядник доказывает, что на этом сходе составлен приговор о том, чтобы в Пятницком обществе (Пятницкой крестьянской общине. – **С. К.**) стражников не было, и что тут же Николай Клюев избран уполномоченным в Государственную Думу. Кроме сего урядник донёс, что тот же Клюев 14-го января, будучи в Макачевском волостном правлении, в частных разговорах высказывал, что платить податей совсем не надо и нужно отобрать землю у священников.

По поводу этого донесения я 25 числа отправился в Макачевскую волость за 28 вёрст и после собранных негласно сведений, указывающих на то, что Клюев действительно возбуждает крестьян к противоправительственным действиям и что, будучи на сходе 22 числа, читал там какой-то печатный приговор, к которому некоторые крестьяне и подписывались, я произвёл в помещении Клюева обыск, но никакого печатного приговора, а равно каких-либо прокламаций или запрещённых листов не нашёл (думаю, что могущее составлять интерес для дела скрыто)”.

Далее Качалов перечислял бумаги, обнаруженные у Клюева, среди которых, в частности, были письмо от крестьянина Ильи Абакумова с просьбой о присылке постановлений первого учредительного съезда Всероссийского крестьянского союза, письма от “Народного кружка”, а также собственные клюевские рукописные сочинения.

“Расспрошенный Клюев на мои вопросы отозвался, что печатный приговор как образец для ознакомления крестьянских обществ и составления приговоров был ему прислан из “Бюро Всероссийского Крестьянского союза” и он его читал на сходе; причём после долгих обдумываний сказал, что приговор, сколько помнит, заключал в себе следующие требования крестьян:

- 1) управления не чиновниками, а выборными от народа, 2) обязательно бесплатного обучения, 3) отмены всех исключительных законов, 4) отмены смертной казни, 5) освобождения всех заключённых по политическим причи-

нам, 6) свободы союзов, собраний, слова, печати и 7) чтобы земля была отобрана частью без платы, частью за плату (подразумеваются, как говорит Ключев, частные и удельные земли). <...>

Дознанием ещё подтверждается, что Ключев, будучи в Макачевском волостном правлении 14 января, говорил, что податей платить совсем не надо и что нужно отобрать землю от священников.

Кроме этого мною получены сведения, удостоверенные расспросами станового пристава учениками гончарной мастерской при Верхне-Пятницком земском училище, что тот же Николай Ключев летом прошедшего года приходил как-то в мастерскую и говорил: “Крестьяне напрасно платят казённые подати и разные сборы, и все получаемые с крестьян деньги идут в карман начальства, которое чрез это обогатилось и ездит в золотых каретах, и начальство это обязательно нужно бить”. Затем говорил, что “скоро будет время, когда всё это начальство уничтожат, тогда всё будет дёшево, так как ни на что акциза и пошлин не будет, и тогда крестьяне что захотят, то и будут делать”...

Наконец, ещё к пополнению всех изложенных обвинений, падающих на Ключева, я имею сведение, что он, будучи на прошедших святках в городе Вытегре, был на маскараде в общественном собрании, одетый в женское платье, старухой, и здесь подпевал вполголоса какие-то песни: “Встань, подымись, русский народ” и ещё песню, из которой мне передали только слова: “И мы водрузим на земле красное знамя труда”. При этом, как на этих днях надзиратель Медведев узнал от местного торгующего еврея-мещанина Льва Крашке, что Ключев на означенном маскараде между прочим рассказывал, что он пробирается в Кронштадт к о. Иоанну Кронштадтскому, критиковал его действия и, проводя разговоры о политических делах и беспорядках, выражался, что и 50 000 крестьян Олонецкой губ/ернии/ всем недовольны и готовы к возмущению, причём, обращаясь к еврею Крашке, говорил: “Смотрите, и вы на первом плане”. Причём бывший при этом другой торгующий Иван Воробьёв, будучи порядочно выпивши и слыша такие слова, толкнул Ключева, сказав: “Уйди с добра, а то тебя приберут”. Здесь же, как объяснил надзирателю Воробьёв, Ключев говорил что-то в революционном духе, но, будучи пьян, он ничего не понял, а припоминает только, что он между прочим спрашивал его, каких он убеждений. Донесение по этому предмету надзирателя приобщено мною к делу.

На основании таких данных я составил протокол, которым подвергнул Николая Ключева аресту при тюрьме, в которую он и заключён впредь до особых распоряжений”.

В этом рапорте обращают на себя внимание и конспирация, применяемая Ключевым (переодевание в старуху), которую он хорошо усвоил во время своих странствий, и певшиеся им песни на слова Лаврова и Радина (“Русская марсельеза” и “Смело, товарищи, в ногу...”), и то, что по сути ему инкриминировалась лишь антиправительственная пропаганда (немало всё же по тем дням). О работе Ключева в качестве “уполномоченного” в Государственной Думе и о его контактах с о. Иоанном Кронштадтским до сего дня ничего не известно. Самого главного – о прокламациях, о приобретении оружия – “начальство” тогда не знало – того, о чём Ключев писал из тюрьмы в письме, адресованном “Политическим ссыльным в г. Каргополь Олонецкой губернии”:

“Арест произведён за последний приговор о земле и лесах, – писал Николай, – которые общество объявило своими. За это только меня и обвиняют, в остальном же меня только подозревают. Я прекрасно знаю, мои дорогие братья, что здесь пропасть человеку очень легко – знаю, что кругом разбойники, но знаю и то, что бороться за решётками глупость; к тому же я имел дело и товарищество только с мужиками. Дорогие мои, как будете в Каргополе, то не найдёте ли возможным написать открытку – в Ярославль губернский, Духовная улица, типография наследников Фальк – Н. И. Ушакову для Лаптева Александра, сообщив о моём аресте и адрес: Вытегра, Н. Ключеву, он – адвокат и может помочь. Если же откроется всё, то мне не миновать ссылки...”

Если... достать известия о том, что в Петербург благополучно провезены из Финляндии 400 ружей и патроны, это известие я получил 17 февраля. Думаю, что и вы это знаете... Опасайтесь полагать записки в ватер, это не секрет для надзирателей. Мне необходимо знать ваши фамилии и имена. Предлагаю писать вам в Каргополь. Простите, мои дорогие, если я вам ска-

жу следующее: олонецкие города – это притон попов, стражников и полицейских. Ваша храбрость и надежда на пулю всем покажется разбоем, поэтому на время ссылки вы должны жить как все, если желаете приискать квартиру и хлеб. Здесь перебивали сотни молодых и благородных людей, но редко кто не забывал свои убеждения до сорока... Этим только и страшна ссылка. Пишу это потому, что до тонкости знаю каргопольскую жизнь, где, кроме церковных порогов, буквально негде кормиться. Преклоняюсь перед вашим страданием. Верю, что вы и в пропастях ссылки останетесь такими же, какими кажетесь мне. Я, отказавшись от земли и службы, – пешком с пачкой звонаний, обошёл почти всю губернию, но редко где встречал веру в революцию – хотя убивать и грабить найдутся тысячи охотников... Сообщите, если знаете, адрес революционного местного комитета. Кстати, из какого вы города? Быть может, придётся увидиться, и очень отрадно, если у вас вера, что у меня те же убеждения”.

Письмо человека, готового страдать за свои убеждения, переживающего, что он волей-неволей участвует не в той революции, о которой мечтает, чувствующего необходимость ободрить и поддержать товарищей по несчастью, о которых он знал ещё до тюрьмы, и одновременно внушить им необходимость слиться с окружающей жизнью “притона попов, стражников и полицейских”. Духовная несломленность и душевная смута – вот что бросается в глаза в этом письме, перехваченном провокаторм.

Провокатора звали Михаил Иосифович Кан. Газенпотский мещанин, который был выслан ввиду военного положения из Курляндской губернии в Каргополь, написал начальнику жандармского Олонецкого управления: “Имею честь сообщить, что я... до высылки служил агентом Курляндского жандармского управления, где я служил один год, они могут дать наилучшие сведения. Также сообщаю, что у меня есть много важных улик против Николая Клюева, содержащегося в Вытегорской тюрьме. Каргополь, 3 марта 1906 года”.

Получив это донесение вместе с клюевскими записками, ротмистр Штандаренко наложил на него резолюцию: “Ввиду имеющихся неблагонадёжных сведений о канне прошение оставить без последствий, о чём его не уведомлять. Исправнику же сообщить о неослабном надзоре за Каном. Запросить полковника Дремлюгу о Канне” (орфография оригинала. – **С. К.**).

13 апреля, в день наложения сей резолюции, пришло сообщение из канцелярии губернатора: “...Мещанин Михаил Канн, по уведомлению курляндского губернатора, состоял агентом при жандармском управлении, но доставляемые им сведения были неверны, и, в общем, он пользовался положением агента в интересах лиц, политически неблагонадёжных”.

С записок Клюева были сняты копии, а в Вологду ушёл запрос “о нравственных качествах и служебных достоинствах Кана”. 2 мая пришёл ответ: “Мещанин М. Кан, служа в качестве агента... и будучи крайне любостыжателен, давал неверные сведения для лишнего получения денег, о чём и сообщаю Вашему Высокоблагородию. Полковник Дремлюга”.

Так провокатору было отказано в его дальнейших услугах. К этому времени жандармов Российской Империи, надо полагать, “достали” многочисленные провокаторы, сочинявшие в своих донесениях что было и чего не было – ради хорошей платы за услуги. При этом сами продолжали деятельность бомбистов, террористов, боевиков, агитаторов – так что уже невозможно было определить, где собственно революционер, а где – полицейский агент. Случай с Каном был на поверхности – другие случаи до сих пор не расшифрованы до конца.

“Впервые сидел я в остроге 18 годов от роду, – вспоминал Клюев в 1923 году, – безусый, тоненький, голосок с серебряной трещинкой.

Начальство почитало меня опасным и “тайным”. Когда перевозили из острога в губернскую тюрьму, то заковали меня в ножные кандалы, плакал я на цепи свои глядя. Через годы память о них сердце мне гложет...”

Кто знает – вспомнил ли он, глядя на кандалы, свои девятифунтовые вериги... Было ему тогда на самом деле 22 года, и был он, действительно, “безусым” и “тоненьким”. После 4 месяцев в вытегорской тюрьме он был доставлен в петрозаводскую. Причём сначала значился в графе “пересыльные”, потом попал в разряд “ссылных”, и после – переведён в “срочные”. Последний перевод состоялся 13 июля, а 26-го Клюев вышел на волю.

Кстати говоря, в жандармской анкете отмечено со слов самого Клюева: “Окончил Вытегорское городское училище; был один год в Петрозаводской

фельдшерской школе, которую оставил по болезни”. Единственное документальное свидетельство этого – протокол заседания педагогического совета фельдшерской школы от 2 июня 1903 года, где упоминается имя будущего поэта. Что же до болезни – разнообразные недуги его уже не отпускают. Домой из своих странствий он вернулся изрядно подорвавшим здоровье, на котором также отнюдь не благотворно сказались периодические тюремные отсидки.

Это была первая, но далеко не последняя клюевская тюрьма. В самом скором времени ему снова придётся познакомиться с застенком – этим “подарком” его не обделила ни одна власть из тех, при которых ему довелось жить. Вышел он в этот раз из тюрьмы отнюдь не надломленный – готовый возобновлять старые связи, искать новых соратников, продолжать свою борьбу.

Александр Копятевич, один из руководителей Петрозаводской группы социал-демократов, вспоминал собрания у креста на кургане – на месте постоянного схода революционно настроенной молодёжи.

“Митинги в лесу в 1906 г. привлекли большое количество рабочих. . .

Помню выступление летом 1906 г. на одном из митингов известного поэта Николая Клюева. Он только что был выпущен из Петрозаводской тюрьмы, где просидел 6 месяцев за чтение революционной литературы и “Капитала” – Маркса (как сам Николай Клюев рассказывал). Вместе со мной, ибо наша с.-д. группа приняла в нём участие по выходе из тюрьмы, он пошёл на собрание, и после моего выступления о помощи ссыльным он обратился с речью, называя собравшихся: дорогие братья и сёстры, и произвёл своей апостольской речью очень сильное впечатление. В период 1905–1906 гг. Н. Клюевым было написано очень много стихотворений революционного содержания. Мне он подарил более 60 своих революционных стихотворений, которые у меня, к сожалению, не сохранились. . .”

Из вышеприведённых документов видно, что Клюев сидел отнюдь не за “чтение революционной литературы”, а что касается “Капитала” – возможно, Николай и держал его в своих руках, и даже читал – но источником его революционных устремлений явно была не эта “библия марксизма”. Из “многих стихотворений революционного содержания” до нас дошло меньше десятка, и почти все они были опубликованы в сборниках “Прибой”, “Волны” и в журнале “Родная нива”. И уже не определишь, сколько из стихотворений, написанных к тому времени, было собственно “революционных”.

“Апостольская речь” была воспроизведена 13 августа 1906 года в петрозаводском еженедельнике “Олонецкий край”, правда, выступавший не назван по имени, но все, пишущие о Клюеве, сходятся на том, что в заметке “Митинг на кургане” воспроизведена именно речь молодого поэта, а в преамбуле к этой речи ощутимы следы клюевского пера.

“Высок курган, вершина его осемена крестом – символом смерти Учителя униженных и оскорблённых. Чудный вид раскидывается перед многочисленной толпой участников митинга. В солнечном свете нежится чудная ширь, – в глубокой синей дали виднеются заонежские острова, белеет Климецкий монастырь. В другой стороне видна река Шуя, видны озёра, текущие цепью меж высоких лесных холмов. Чудная картина, не оторвал бы глаз от неё.

У креста, на груде камней, несколько возвышаясь над толпой, стоит человек, и речь его далека от этих красот природы. Все ему жадно внимают:

– Товарищи! Мы рабы, мы угнетены, за нас никто, против нас все; прежде всего наше правительство – приказчик капитализма! Объединяйтесь! Лишь в единении сила.

Дорогие товарищи, братья! Я шесть месяцев просидел в тюрьме только за то, что сказал крестьянам, что есть лучшая жизнь на земле, что есть средства бороться с тиранией! Дорогие товарищи-братья! В Олонецкой губернии жили сотни страдальцев за ваше лучшее будущее. Эти страдальцы брошены в глушь деревень на голодную смерть. Помогите этим мученикам народного дела, не дайте им погибнуть, не дайте им пасть жертвой насилия!

Товарищи! Сперва разогнали Думу, теперь начинают убивать депутатов Думы. Наёмный убийца не пощадил одного из первых сынов России Михаила Яковлевича Герценштейна. Так мстит умирающий тиран народу, так мстят тираны борцам за народное дело. Позор палачам, ненависть угнетателям, месть убийцам! Товарищи, ещё долго, может быть, будут нас расстреливать и вешать, долго ещё потому, что ещё не все угнетённые, не все рабочие

и крестьяне понимают, что в единении сила. Много ещё среди нас отсталых, робких, не разорвавших ещё связей со старыми суевериями. Товарищи! Объединяйтесь сами, зовите за собой других, объясняйте всем, что народ ограблен, ограблен только потому, что ещё не все реки и ручейки освободительного движения слились в один могучий поток!..

Заходит солнышко. Свежеет вечер. Темнеет даль. А у креста всё ещё слышны речи, всё ещё раздаётся призыв – объединяйтесь, объединяйтесь на борьбу с общим врагом.

Одиннадцать часов. Смолкли речи, на груди камней не видно уже говорящих людей, толпа сгрудилась, и вдруг в тиши летней ночи раздалась могучая песнь, обет борцов за свободу. “Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног”, – смело и громко звучат в похолодевшем воздухе гордые слова гимна, горячо звучат голоса поющих”.

Всё это, правда, больше похоже на выступление записного пропагандиста тех времён, мало того, что совершенно лишённое индивидуальных красок, но ещё и обнаруживающее явное непонимание сути происходящего. Под “старыми суевериями” оратор мог понимать привычные упования “рабочих и крестьян” на “доброе царя”... Что же касается “одного из первых сынов России Михаила Яковлевича Герценштейна”, то этот депутат Государственной Думы от кадетской партии поплатился жизнью за выступление, в котором погромы помещичьих усадеб восторженно назвал “иллюминациями”... Убийство организовал петербургский градоначальник В. М. фон дер Лауниц, убитый в свою очередь 21 декабря 1906 года, знавший не понаслышке об этих погромах (до своего последнего назначения он был тамбовским губернатором). Самому Герценштейну не было ни малейшего дела до крестьянских чаяний – но было “большое” дело до уничтожения исторической и культурной России, как совершенно справедливо отметил в своих воспоминаниях В. В. Шульгин.

В “Письме политическим ссыльным, препровождаемым в Каргополь” Клюев указал для возможной связи один адрес “кружка социалистов-революционеров”, много значащий для него не только в плане “явочной квартиры”: “Петербург, – Васильевский остров, Большой проспект, дом № 27, кв. 4, Марии Михайловне Добролюбовой. Сюда можно обращаться и за денежной помощью, только я думаю, и этот кружок арестован, хотя месяц назад был цел”. Тогда гроза миновала, хотя беспокойство Николая было вполне обоснованно и по-человечески понятно: Мария Добролюбова и её сестра Елена были в этот период, пожалуй, наиболее близкими ему духовно людьми. Мария, бывшая сестра милосердия в русско-японскую войну, была членом партии эсеров и запомнилась яркими выступлениями на митингах. О её авторитете свидетельствует запись Александра Блока: “Главари революции слушались её беспрекословно... Будь она иначе и не погибни – исход революции был бы совсем иной”. Можно узреть и скрытый смысл в этих словах: эсеры не боялись ни своей, ни чужой крови, но Мария и здесь выделялась на фоне этой отморозенной стаи. Назначенная на террористический акт и понимая, что ждёт её в случае отказа – она предпочла покончить жизнь самоубийством... Она писала стихи, которые, при всём их несовершенстве, не могли не находить отзвука в душе Клюева: “Ветерочек лепесточек мой, шутя, колышет, всякий странник и изгнанник мои песни слышит”.

Таким же “странником и изгнанником” был её родной брат – Александр Михайлович Добролюбов, “пречистая свеченка”, как написал о нём впоследствии Клюев, – странствовавший по Олонецкой и Архангельской губерниям в конце века и, не исключено, пересекавшийся на своих таинственных путях с Николаем.

Да, это был не Мережковский, ходивший “в народ”, как на экскурсию, и приспособивший увиденное и услышанное под свои мировоззренческие концепции. Это был человек, живший, как писавший, и писавший, как живший, – человек, в котором Клюев, только приступавший к серьёзному поэтическому творчеству и колебавшийся в выборе будущего жизненного пути, не мог не почувствовать родную душу. Сестёр его Клюев воспринимал, как своих духовных сестёр, а самого Александра, как брата духовного, брата, которого он не устал искать на протяжении всей своей многотрудной жизни.

(Продолжение следует)